

# Яр

**Автор:**

Сергей Есенин

Яр

Сергей Александрович Есенин

«По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу. Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла. Из чапыги с фырканием вынырнули два зайца и, разрывая снег, побежали к межам. По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши...»

Сергей Есенин

Яр

Повесть

Часть первая

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканием вынырнули два зайца и, разрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

- Волки, - качнулась высокая тень в подлунье.

- Да, - с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мощной.

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.

- Кабы не лес крали, - ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

- Кто едет? - процедил его охрипший голос.

- Овсянники, - кратко ответили за возами.

– То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

– В чапыжнике, – глухо крикнул он, догоняя сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

– Идут, – позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

– Эй, Фанас, – дернул его Филипп за казинетовую поддевку. – Волки пришли на свадьбу.

– Никакой свадьбы не будет, – забурукал Ваньчок. – Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувшись, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

– Волки, говорю, на яру.

– Ась? – заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

– Чукан, Чукан! – крикнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громяхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуйв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белой пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил», – мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки», – заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

– Откулева?

– С Чухлинки.

– Далеконько забрел.

– Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал сужеными глазками.

– Я ведь гнал-то.

– Ты?

– Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

– Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

– Скидывай кожух-то?

– Я хотел тебе сказать – не замай.

– А что?

– Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

– Так ты, значит, беги за салазками.

– Сейчас сбегаяю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.

– А как тебя зовут-то?

– Карев, – тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

– Блюешь?..

– Брр... – задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. – Похмели меня...

– Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головой в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

– Медведя убили...

– Самдели?

– Без смеха.

Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

– Ты идешь?

– Иду...

– И я пойду.

Подковылял к полатам и вытащил свою шубу.

– Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутылка.

– Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла россомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатила, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

– Ух какой! – протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст. – Ну и лопатки!

– Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, – заговорил Филипп, – да угости пришляка тепленьким.

– А есть разве?

– Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутылку.

– Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

– Волков я тоже думаю взвалить.

– А где они?

– Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого жоака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

– Пугаются, – крикнул Филипп и скинул ношу на салазки.

Крученный тяж повернулся концом под грядку.

– Эй, вставай, – крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

– Не встану, – кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

## Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы трянули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружок.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

– Чи-их! – фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

– К твоей милости, – низко свесился дружок.

– Зубок привез?

- Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

- Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

- Расколешь! - заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.

- Небось, - выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

- Смачная! - лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу: - Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.

- На колымагу! - замахал рукою дружко. - Выходит сейчас.

- На колымагу так на колымагу, - крякнул дьякон и, подбирая засушенный подрясник, повернул обратно.

- Есть, - щелкнул дьячок под салазки.

- Опосля, опосля, - зашептал дружко.

- Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обрызганным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

– Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.

– Ишь ты какой сурьезный, – говорил шепелявя дьякон, – в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.

– Ты больно широко раздвинулся, – заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

– Эй, матушка! – крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. – Н-но, дьявол! – рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

– А ты, пожалуй, нарочно уселся так, – обернулся поп опять к дьякону, – грязь-то вся мне в лицо норовит.

– Это, батюшка, Бог шельму карает, – огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

– Тпру, тпру! – кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.

– Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, – искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста – с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

– Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился – как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около наля краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налесток.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником.

– Женится – переменится, – говорил Анисиму уважительный кум. – Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

До замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосом бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

– Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим, – говорила она и, закинув за подмышку зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садись рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на Масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к нему в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склоняясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

– Пойдем, – покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

– Ничего, Степан, не бойся, – подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, – ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

– Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь – я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пыталась, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощенный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

– Ничего, – говорил он спокойно и ласково. – Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

– Благословите меня, – сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

– К страстной вертайся, – сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

– Ну, прощай, Анна! – проговорил тихо и кротко. – Не обижай стариков. – Немного задумался и гладил ее щеку. – Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

– Костя! – гаркнула она. – Вернись!

– Ись... – ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

– Очухайся! – кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.

– Снегом его, – тихо сказал Карев.

– И то снегом...

Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

– Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

– С перепою, – тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударя ладонью по донышку, выбил пробку.

- Пей, - поднес он стакан Кареву. - Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, - почесался Филипп и вышел в теплушку.

- Липа? Лип?.. - загукал его сиповатый голос. - Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

- Убью, - усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

- Не боюсь, - тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Акси́нья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

– Тетенька ушла, – сказал он ей, как они пришли из церкви. – Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

– Отчего он не тает? – спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

– Лучше я повешусь на ветках березы, – говорила она, – чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаясь, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

- Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

- А я возьму тебя и съем, - шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давал искаться.

- Пусти ты, - отпихивал он ее руки.

- Ложись, ложись, - тянула она его к себе. - Я расскажу тебе сказку.

- Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? - приклепывая губами, выговаривал Юшка. - Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

- Готов, - сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

- Славная штука, - ухмыльнулся Филипп, - рублей двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю, - обернулся он к Кареву: - Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

- Я пришляк, у просфирни проживаю.

- Пономарь, что ли, какой?

- Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

- Зарит... - поднял блюдце Карев. - Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

– Ишь наклюкался, – рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. – Гусь жареный, тоже свататься приехал!

– Ох, – застонал Ваньчок и откинул полу.

– Кто там? – отворил дверь Филипп.

– Свои, – забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

– Есть дичь-то? – затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

– Есть.

– А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

– Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

– Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

– Ну, так, значит, Филюшка, двести с четвертью да за волка четверть.

– Коли не обманываешь – ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

- Получай, – слюнявя пальцы, отсчитывал он.

- Счастлив, брат, ты, – ткнул в бок Филипп Карева, – и скупщик, как нарочно, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

- Так ты помоги, – скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

- Ишь какой здоровый! – смеялись скупщики.

- Мерина своротит, – щелкнул кушаком Филипп. – Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

- Он убил-то?

- Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

- Н-но! – крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, затемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

- Не надуешь проклятого.

- Хитрой мужик, – подхватили скупщики и задергали башлыками.

- Дели, – выбросил Филипп на стол деньги.

- Сам дели.

- Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

- Кто это? - мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

- Всю память заспал, - ухмыльнулся Филипп.

- Нет, самдели?

- Забыл, каналья?

- Эй, дядя, - поднялся Карев, - аль и впрямь запомятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

- Смеетесь, - поднес к губам корец.

- А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

- Тебе полтора ста, а мне сто, - встал Карев и протянул руку.

- Как же так?

- Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

- Ай и скупщики были?..

- Были.

- Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

- Погоди, - останавливал Филипп, - выписься.

- Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

- Заходи! - крикнула она, махая платком.

- Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рука, обвивала одинокие разбросанные липы.

- Садись, касатик, подвезу! - крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

- И то думаю.

- Знамо, лучше... Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

- Что ж пустой-то?

- Продал.

- Ишь Бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

- Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

- Раменки! – крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

- Подбирай, бабушка! – крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забил крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала закрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

- Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

- Экай ты какой! - крикнула укоризненно баба. - Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

- Закуривай, - оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.

#### Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл в округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотые деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

- Фюи, фюи, - шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

- Ух, ух, - лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

- Придут, - говорил он, глядя мухортую собаку. - Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза - шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

- Мотри, Богу молись, - наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

– И далеко будем ехать-то? – спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

– Две ночи спать будешь, – ухмыльнулся он, – а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

– Заблудишься, – ворчал Афонька, – не броди далеко.

– Я, дяденька, не боюсь теперь, – смысленно качал желтой курчавой головой Кузька. – Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

– Ишь какой догадливый, – смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росой.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком за клубился дым.

– Где он, где он? – крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

– Вот он, вот он! – кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

– Лови, лови! – кричал Афонька. – Эх ты, сопляк, – протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам. – Гони в кусты! – кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиной.

– погоди, – сказал Афонька, – я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» – забулькало над головами лилий.

– Кши, дьявол! – гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.

- Не нарвись! - крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, сходясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь, висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

- Тех, тех, тех, - щелкал в березняке соловей.

- Тинь, тинь, тинь, - откликались ему желтоперые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» - мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным смехом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельницу.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали – он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкой около жернова.

Крепко задумался он – не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой ложине, церковь.

Он обвязался, как путом, кругом этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

– Здорово, дедунь! – крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

– Здорово, – кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу, – нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

– Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим.

Ощипал, выпотрошил и принес беремья дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почувал, так почувал, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

– Останься, – грустно поникнул он головою. – Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

– Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, – толковал он с Каревым. – Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать, – вынул он пачку бумаг, – ты как Кузька стал мне... словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки.

– Не гляди, что мы ковылем пахнем, – грустно усмехнулся он, – мы всю жисть, как вино, тянули...

– Что ж, захмелел?..

– Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

– Чтоб те пусто взяло! – выругался сотский, спуская осторожно мешок. – Немудрено и брыкнуться...

– Крута лестница-то, крута... – зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. – Обвалилась намедни плоская-то, новую заказал.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://tellnovel.me/sergey-esenin/yar>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)